

В. И. КОЗЛОВ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕГО АНАЛИЗА В ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ РОССИИ КОНЦА XVIII—ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.

К концу XVIII в. отечественная историческая мысль накопила значительный корпус знаний о прошлом, не раз предпринимая с разной степенью успеха попытки их теоретической организации с различных классовых позиций. В связи с этим в сферу самостоятельного внимания неизбежно стала вовлекаться та часть познания прошлого, которая связана с его отражением. Осознание прошлого как идеальной организации полученных эмпирическим путем знаний заставляло обращаться к источнику этих знаний, выделять его в общем процессе познания прошлого.¹

Это нашло свое отражение уже в попытках терминологического упорядочения всей сферы работы с источником. Здесь наиболее замечательными оказались два явления: стремление, с одной стороны, отделить работу с источником от «исторического повествования», т. е. литературного рассказа о прошлом, и, с другой стороны, отграничить источник от исторического факта.²

Серьезную теоретическую проработку вопроса об источнике как *свидетельстве* или *совокупности свидетельств*, обеспечивающих познание прошлого, мы видим в работах философской школы русских просветителей. Признавая познаваемость мира, представители этой школы распространяли ее и на прошлое человеческого общества. Так, например, согласно высказыванию одного из лидеров этой школы — А. С. Лубкина, познание мира человеком осуществляется

¹ Здесь и далее в основном речь пойдет о письменных источниках. Примеры отношения к другим видам источников исторической мысли России даны только в плане типологии.

² Подробнее см.: Волк С. И. Исторический источник в русской историографии XVIII в. // Проблемы истории докапиталистических обществ. 1934. № 7--8. С. 47—50 и др.; Илларио С. С. О формировании термина «исторический источник» в русской научной литературе XVIII в. // Источниковедение отечественной истории. 1984. М., 1986. С. 199—210.

не только с помощью чувств и разума, но и опосредством свидетельства других людей, которым мы должны верить».³ В представлении А. Ф. Мерзлякова изучение прошлого «основывается на свидетельстве или преданиях, заключающих в себе опыты и чувствования других людей».⁴ Для Лубкина, Мерзлякова и таких представителей этой школы, как Н. Д. Лодий, Н. П. Любачинский, Н. Е. Сниткин, источник представлялся неким материализованным остатком прошлого, содержащим объективные свидетельства о нем, могущим служить «основанием истины» в особой форме человеческого познания — и «познанию историческому».

Вместе с тем в определении источника как свидетельства о реальных событиях прошлого общественно-историческая мысль конца XVIII — первой четверти XIX в. даже в лице своих лучших представителей не смогла преодолеть существующий налет идеализма. Исходя из концепции человека как природно-биологического существа, вся деятельность которого носит сознательный характер, общественно-историческая мысль последующего времени видела в источнике только один из результатов этой сознательной деятельности. Поскольку сама задача изучения прошлого в подавляющем большинстве сводилась, говоря словами Сниткина, к познанию «постепенных успехов разума», значение источника как свидетельства о прошлом ограничивалось рассмотрением его возможностей в освещении идей, а не общественных отношений и реальной исторической действительности, породивших источник.

Тем не менее общая посылка об источнике как свидетельстве или совокупности свидетельств о прошлом имела важное теоретическое значение. Источник включался в решение проблем гносеологии. Он становился одним из оснований, дающих возможность рассмотреть полученное с его помощью знание о прошлом как реальное, истинное. Значение такого понимания источника становится еще явнее, если мы ведем, что параллельно с ним существовали по меньшей мере еще четыре иные трактовки.

Согласно одной из них, источник рассматривался неключительно как «раритет» — *редкость, предмет любопытства*, — поражающий своими особенностями (древностью, внешним видом, содержанием и т. д.) воображение и вкус просвещенного человека конца XVIII — первой четверти XIX в. М. П. Сперанский метко назвал такое понимание источника «антикварным романтизмом».⁵ Отражая усилившийся в русском обществе интерес к прошлому и сохранившийся от него источник, «антикварный романтизм» сводил их роль к возбуждению «любопытства, которое вызывают, например, природные аномалии или какие-либо необычные предметы. Он исключал необ-

³ Лубкин А. С. Начертание логики // Русские просветители: (от Радищева до декабристов): Собр. произведений в двух томах. М., 1968. Т. 2. С. 91.

⁴ Мерзляков А. Краткая риторика или прагматика, относящиеся ко всем родам сочинений прозаических. 3-е изд. М., 1821. С. 98.

⁵ Сперанский М. П. Гусовиенно сборники XVIII века. М., 1963. С. 20.

ходимость изучения источника, делая его всего лишь предметом, способным вызвать удивление.⁶

В соответствии с другим пониманием источника в нем видели *остаток* просвещения прошлого, представляющий для современности интерес своими литературными, художественными и иными особенностями. Источник рассматривался как средство воздействия на эстетические вкусы, чувства и ум человека. Он исключался из сферы анализа как свидетельство о прошлом. В лучшем случае такой анализ сводился к тому, чтобы придать источнику некую привлекательность либо определить его эстетические и сюжетные достоинства с точки зрения возможности их использования в литературе, живописи, скульптуре. Так, например, преимущественно как остаток рассматривался источник в книге «Руководство к познанию древностей» г. А. Миленин, подготовленной к изданию Н. Ф. Кошарским с его собственными многочисленными добавлениями.⁷

Рассмотрение источника через критерии «визуального искусства» и условных, когда был широко распространен взгляд на историографию («историописание») как на предмет преимущественно литературного, а не научного творчества, неизбежно ограничивало сам корпус источников. Подобный подход требовал выбора из источников, признанных вполне достоверными, только тех, которые соответствовали критериям эстетичности.⁸ Трактовка источника как остатка отразилась характерно для исследуемого времени переименование историографии как «историописательства» и как художественного творчества, литературных выражений. Романтизм с его повышенным интересом к человеческой личности включал источник и творческий процесс в качестве своеобразного в очень важного элемента «техники» творческого акта, с одной стороны, и средства, способного эмоционального воздействия, возбуждения духовных эмоций — с другой. Не случайно, например, в популярном литературном жанре этого времени — путешествиях источник занимал чрезвычайно важное место в рассказе автора.

Согласно еще одному пониманию источника, в нем видели преимущественно *доказательство* — одно из средств в общественно-политической борьбе тех лет, призванное подтвердить исторические прецеденты, имеющие актуальное значение для современности. Источник как бы превращался в актуализированный документ. Созданный в прошлом в процессе реализации определенной практической задачи и со временем утративший свою первоначальную целевую установку, такой документ призван был раскрыть в общественно-политической борьбе новые грани своего содержания для обоснования идей, замыс-

⁶ См., напр.: Ржев Н. Откровенное достоинство или изображение густых исторических памятников в необыкновенных произведениях природы, наук и искусства, находящиеся в России. М., 1823, ч. 1—2; 1824, ч. 3—4.

⁷ Руководство к познанию древностей г. А. Миленин, ... изданное с прибавлениями и замечаниями Н. Кошарским. М., 1807.

⁸ Давыдов Ю. М. Слово о полку Игореве и литературные традиции XVIII — начала XIX вв. «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.: М., 1962. С. 221—222 и др.

лов, действий предстателей общественно-политической мысли конца XVIII—первой четверти XIX в.

Острота общественно-политической борьбы в исследуемое время предопределила исключительно широкое распространение взгляда на источник как на доказательство. Во многих случаях такой подход к источнику совпадал с требованиями научного познания прошлого, с пониманием источника как «свидетельства». Но нередко он неизбежно вступал в противоречие с ними, ибо в своей основе предполагал не анализ с применением всего известного и то время арсенала научных приемов, а интерпретацию источника с ее подчиненном определенным идеологическим и политическим конструкциям.

Можно было бы привести немало примеров использования в конце XVIII—первой четверти XIX в. источника как доказательства. Едва ли не наиболее яркий связан с находкой в 1792 г. Тмутараканского камня с древнерусской надписью. Открытие надписи в научном отношении положило конец спорам, продолжавшимся на протяжении XVIII в., о месте древнерусского Тмутараканского княжества. Надпись предоставила в распоряжение исследователей важный исторический факт, который определенно указывал, что Тмутараканское княжество находилось не в районе Рязани, не на берегах Вороты, не близ Азова, не в Темрюке, а на Таманском полуострове. В условиях освоения Россией причерноморских районов после присоединения Крыма Тмутараканская надпись неизбежно приобретала политическое звучание, подтверждая, что и в древности Тамань входила в состав владений «князей Российских». Несомненно, именно так была оценена находка в кружке А. И. Мусина-Пушкина. Не могла не обратить на это внимание и Екатерина II. Не случайно по ее высочайшему повелению Мусин-Пушкин оперативно подготовил одно из первых в России специальных историко-географических исследований о местоположении Тмутараканского княжества, в котором надпись на камне занимала важное место как источник.⁹ Острое политическое звучание найденного источника послужило основанием для современников Мусина-Пушкина, чтобы говорить о его подделке. Однако политические мотивы отнюдь нельзя признать сколько-нибудь серьезным аргументом в пользу подложности надписи. В самом деле, с ранним основанием можно говорить о том, что именно они способствовали открытию и, самое главное, оперативному введению в общественный оборот этого источника. Именно подобное произошло с так называемыми в то время Динскими камнями, обнаруженными Г. С. Мальгиным в районах, отошедших к России после разделов Польши. Их политическое звучание, бывшее ничуть не меньшим, чем звучание Тмутараканской надписи, предопределило оперативную публикацию ряда обнаруженных на камнях древнерусских надписей.

В случаях с Тмутараканским и Динскими камнями подход к источнику как доказательству счастливо совпал с отношением

⁹ Мусин-Пушкин А. И. Историческое исследование о местоположении древнего русского Тмутараканского княжества. СПб., 1794.

к нему как свидетельству. Между тем рассмотрение источника в качестве доказательства сквозь призму определенных политических и идеологических схем опережало его более глубокое осмысление как свидетельства и в большей степени, нежели научное его изучение, способствовало введению его в общественный оборот. Дальнейшая судьба Тмутараканского и Двинских камней красноречиво говорит об этом. После того как камни утратили свое злободневное политическое звучание, о них просто забыли, и лишь в 10-х гг. XIX в. интерес к этим источникам пробуждается вновь, но уже на качественно иной основе. Камни становятся объектом серьезного палеографического и историколингвистического анализа в специально посвященных им исследованиях.

Наряду с пониманием источника как свидетельства, раритета, остатка и доказательства в исследуемое время было распространено его толкование как *припаса* — совокупности всех тех «пособий», которые имелись в распоряжении автора исторического сочинения. Своеобразие такого понимания источника, идущего еще от В. Н. Татищева, выразилось, во-первых, в том, что оно подразумевало преимущественно письменные источники — печатные и рукописные, и, во-вторых, не ограничивало исторический источник — рассказ современника, очевидца, — от позднейшего рассказа — гипотезы. Последнее обстоятельство явилось одной из причин такого важного события в отечественном источниковедении этого времени, как полемика Н. Н. Болтина и М. М. Щербатова, в том числе и по вопросу об отношении к «Истории» Татищева. Взгляд на основную, опубликованную, часть «Истории» Татищева как на механический свод летописного материала был господствующим в русской исторической мысли вплоть до выхода «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Щербатов был первым, кто попытался порвать с традицией, ставившей труд Татищева только в один ряд с летописью. На этой основе он по существу впервые сформулировал мысль о необходимости разграничения источника и исторического сочинения.¹⁰

Рассмотренные выше представления об источнике в исследуемое время не существовали в «чистом» виде, проявляясь скорее как преобладающие тенденции в тех или иных сочинениях. Вершиной научного осмысления источника и конце XVIII — первой четверти XIX в. явилось его понимание как свидетельства или совокупности свидетельств о прошлом. Ближайшим к этому было и толкование источника как припаса, ибо оно не исключало в подходе к нему главного — необходимости извлечения достоверных фактов о событиях прошлого. Следующее по значимости понимание источника — как доказательства — уже допускало в определенных ситуациях по соображениям политического и идеологического характера пренебрежение научным анализом, а подчас и сознательное его игнорирование.

¹⁰ Подробнее см.: Добрушкин Е. М. «История Российская» В. Н. Татищева и полемика Н. Н. Болтина и М. М. Щербатова // Источниковедение отечественной истории. М., 1973. Вып. 1. С. 109.

Наконец, в подходе к источнику как остатку и раритету мы обнаруживаем стирание грани между собственно источником и содержащимися в нем фактами, рошительное предпочтение эстетического восприятия перед логическим анализом.

Интересно отметить, что своеобразие трех последних представлений об источнике нашло отражение в конце XVIII — первой четверти XIX в. в таком явлении, как подделки источников. В исследуемое время было изготовлено немало фальсификаций, причем обнаруживался их довольно отчетливая «иерархия», соответствующая представлению об источниках их изготовителей и заказчиков.

Низший уровень таких подделок был представлен изделиями А. И. Бардина. Творческая фантазия Бардина ограничивалась искусными по пожеланиям того времени имитациями внешних атрибутов древности уже известных, преимущественно уникальных источников. Имитации Бардина, ориентированные на обращение в среде коллекционеров, являясь своеобразными рукописными «публикациями» древних памятников, отразили восприятие источника исключительно как раритета.¹¹

Следующая группа подделок представляла собой уже более или менее искусные авторские произведения, имитирующие не только внешние атрибуты древности, но и содержание, которое, как правило, представляло вымышленную или кусков текстов подлинных источников. Одной из таких подделок стала «Новость о Мстиславе», подготовленная П. Ю. Львовым на основе переработки текстов «Слова о полку Игореве», «Сборника Кирии Давыдова» и летописей.¹² Другая фальсификация — «Гимн Бояна» — вышла из-под пера А. И. Сулакадзе и явилась откликом на общественный интерес к фигуре древнерусского стихотворца, кратко упомянутого в «Слове о полку Игореве».¹³ «Новость о Мстиславе» и «Гимн Бояна» являлись литературными мистификациями на историческую тему, в которых процесс изобретения чрезвычайно условно, в духе эстетических представлений их авторов.

Еще одна группа подделок отразила подход к источнику как к доказательству. Такие подделки с точки зрения их изготовителей должны были приобрести общественно-политическое и идеологическое звучание, откликаясь на злободневные проблемы современной жизни. Ряд их вышел из-под пера все того же Сулакадзе («Оповедья», «Сказание о Руси и о князе Олеге»).¹⁴ Примером подделки, рассчитанной на общественное воздействие, является и приложенный

¹¹ Саввинский М. И. Русские подделки рукописей в начале XIX века: (Бардин и Сулакадзе) // Проблемы источниковедения. М., 1956. Вып. V. С. 74—90.

¹² Львов П. Ю. От подделки новости о князе Мстиславе // Русский вестник. 1858. Ч. 8. № 11. С. 147—150.

¹³ Давыдов П. М. «Слово о полку Игореве» и литературная традиция. . . С. 296—297; Саввинский М. И. Русские подделки рукописей. . . С. 62—74.

¹⁴ Рабинович Л. П. Псевдонимы Сулакадзе // Русская литература, 1979. № 3. С. 91—100; Воронин Н. П. «Сказание о Руси и о князе Олеге» в рукописях А. В. Арцинова (в истории литературных подделок начала XIX в.) // Археологическая летопись за 1974 год. М., 1975. С. 176—179.

И. А. Словцовым к его похвальному слову Ивану Грозному «Отрывок речи, которую говорил 1582 года марта 25 в Грановитой палате боярин Никита Романов Юрьев».¹⁶ Здесь с помощью вымышленной речи Юрьева Словцов попытался высказать свою точку зрения на попытки кодификационной деятельности правительства Александра I в первые годы его царствования. Словами Юрьева о законодательстве Ивана Грозного Словцов попытался наложить свою законодательную программу: неприкосновенность дворянской собственности, право перехода крестьян за выкуп, «обдуманное раздробление» исполнительской власти, необходимость совещательного органа при монархе с правом законодательной инициативы и т. д. «Речь Юрьева» дала возможность ее действительному автору похвалить законодательную практику Ивана Грозного как достойный в ряде случаев пример для подражания при разработке законодательства в начале XIX в. Известен еще один пример подделки источника, продиктованный отношением к нему как к доказательству. Речь идет об «указе» царя Алексея Михайловича от 18 мая 1651 г. «Указ», созданный, по всей видимости, в среде духовенства, предписывал не посылать на полюдство заповоливших Россию «разных еретиков немцев», предоставляя последним только возможность ратной службы. Он несомненно отразил недовольство заселением иностранцев в правительственном аппарате России в последующее время и был призван обратить внимание на якобы прецедент, к которому было бы неплохо (в представлении фальсификатора «указа») прибегнуть и в начале XIX в.¹⁷

Процесс дальнейшего осмысления источника общественно-исторической мыслью конца XVIII—первой четверти XIX в. нашел свое отражение и в классификациях источников. Попытки классификации не раз предпринимались начиная с Татищева. Конечно, в современном понимании это были скорее первые наметки некоего логического упорядочения источникового материала. Во-первых, в лучшем случае они представляли собой перечни источников, сгруппированных по определенным формальным признакам и в пределах одной классификации — по разным основаниям: по месту хранения (официальное или частное хранилище), национальной принадлежности авторов источников (отечественные и иностранные), наиболее различными видовым и функциональным признакам (летописи, акты, разрядные книги и т. д.). Такая классификация отражала представление о ценностной иерархии источников как свидетельств и освещении конкретных исторических сюжетов. Во-вторых, подобные перечни, за редким исключением, были ориентированы только на письменные источники. В-третьих, все они носили вспомогательный характер, являлись средством доказательства добросовестности авто-

¹⁶ Словцов И. Похвальное слово царю Ивану Васильевичу IV. СПб., 1807. С. 75—118.

¹⁷ Лизанец И. Вымышленный указ царя Алексея Михайловича // Сборник статей в честь Дмитрия Фомича Кобяко от сослуживцев по имп. Публичной библиотеке. СПб., 1913. С. 86—90.

ров исторических сочинений и характеризую богатство их «приписов». ¹⁷

В исследуемый период подобные систематизированные перечни имели наибольшее распространение. А. Л. Шлецер и Н.-Г. Стриттер выделяли, например, две группы источников — «главные и побочные», отчетливо демонстрируя прагматизм в проблеме классификации, т. е. рассматривая ее не как самостоятельную гносеологическую задачу, а всего лишь как вспомогательные действия по упорядочению известного источникового материала. ¹⁸

Иначе поступил Н. М. Карамзин. Отказавшись от выделения группы главных и вспомогательных источников, историограф пошел по пути подробного перечисления основных известных ему видов (применительно к истории России по XVI в. включительно). ¹⁹ Систематизация Карамзина, несмотря на труднообъяснимое отсутствие в ней группы законодательных материалов, широко использованных им в своем труде, с точки зрения полноты основных видов источников являлась самой подробной из всех существовавших до этого в России. Карамзин по существу впервые в историографии подчеркнул в ней значение таких, например, источников, как повести и сказания, определенно заявил о «не совсем бесполезном» значении при воссоздании прошлого песен, пословиц, а в последовательности своего перечисления различных видов источников руководствовался не столько критерием их значимости, сколько степенью известности и доступности.

Однако и классификация Карамзина, несмотря на то что она была выделена в особую главу, по-прежнему свидетельствовала о добросовестности автора «Истории государства Российского». Между тем в исследуемое время мы впервые видим две попытки специально рассмотреть проблемы классификации источников как часть проблемы гносеологической, связанной с «познанием историческим».

Одна из таких попыток содержалась в малоизвестном «Плане путешествия по России для собирания древностей», приписываемом П. П. Дубровскому (1805 г.). ²⁰ Автор этого плана предложил разделить все источники по отечественной истории на три группы: 1) принадлежащие «словесной части манускриптов», т. е. письменные источники; 2) «памятники» или «местные» или на самой земле оставшиеся следы человеческой деятельности; 3) «затяжки» — «все искус-

¹⁷ Эскизный очерк классификации источников в исследуемый период см.: *Пушкарев Л. П.* 1) Классификация русских письменных источников по отечественной истории. М., 1975. С. 135—140; 2) Вопросы классификации источников в русской исторической науке XIX—XX вв. // *История СССР*. 1963. № 3. С. 79—93.

¹⁸ *Вольф С. П.* Исторический источник. . . С. 43; *Шлецер А. Л.* История Русские летописи на древнеславянском языке, сличенные, переведенные и объясненные. СПб., 1809. Ч. 1. С. 116—117; *Стриттер Н.-Г.* История Российского государства. СПб., 1800. Ч. 1. С. 1—5.

¹⁹ *Карамзин Н. М.* История государства Российского. СПб., 1842. Кн. 1. Г. 1. С. 2.

²⁰ Архив графов Мордвиновых. СПб., 1902. Т. 3. С. 588—613.

ственные изделия» (оружие, утварь и т. д.). Несмотря на неполноту, например на отсутствие группы источников устного народного творчества, отказ автора от более дробных делений, замененных традиционным бессистемным перечислением, эта классификация фактически впервые в отечественной исторической мысли выделяла три класса источников — письменные, вещественные и археологические.

Более сложную, но и более всеобъемлющую классификацию «исторических памятников», также малоизвестную в науке, предложил в 1865 г. Лубкин.²¹ Он выделял шесть групп таких памятников: 1) «оставшиеся в целости повествования и записки», т. е. повествовательные письменные источники; 2) «всеобщая народная пера, одна-кож таковая, о коей не можно подозревать, что основана на предубеждении или обмане», т. е., как можно полагать из дальнейших рассуждений Лубкина, часть устного фольклора — мифы; 3) «востоянное предание такого ж свойства, и главных чертах не изменявшееся», т. е. устные предания, в том числе фольклор; 4) «публичные установления, праздники, обряды, в память какого-либо важного происшествия сделанные», в том числе законодательный и актовый материал; 5) «здания и другие произведения художеств. . . да и самые иногда народные сказки»; 6) «народные обыкновения, предрассудки, послоница и даже известные и странные обороты и выражения».

Классификация Лубкина охватывала значительный корпус источников. Несмотря на терминологическую нечеткость, непоследовательность, неполноту, в русской исторической мысли это была первая оригинальная классификация источников, ориентированная не на «приказы» исследователя, а подчиненная «познанию историческому» как гносеологической проблеме.

Процесс осмысления источника в отечественной общественно-исторической мысли конца XVIII — первой четверти XIX в. протекал одновременно с вызреванием и феодальном миропозрении буржуазных элементов. Решившиеся при этом общетеоретические вопросы, в том числе связанные с проблемой познаваемости природы и общества, неизбежно заставляли опираться на определенные методы познания. Не было это исключением и когда речь заходила о познании прошлого. Источник повлекался в процесс познания, а значит, становился объектом анализа. Исследуемое время было ознаменовано обострением внимания к анализу источника, решительным преодолением рецидивов пренебрежения им, поиском его позитивных методов.

Причины этого носили как гносеологический, так и конкретно-историографический характер. Говоря о причинах гносеологических, мы имеем в виду дискутировавшуюся философской мыслью проблему объективности познания общественной жизни, и том числе в прошлом, границы и критерии истинности этого познания.

Реакционное крыло общественно-исторической мысли, провозглашая высшей формой познания религиозное озарение, призывало

²¹ Лубкин А. С. Изчерташе логики. С. 131.

и познании прошлого опираться на «исповедования священнических книг». Допуская в известной мере привлечение других источников, его представители видели в них лишь средство получения элементарных знаний о прошлом для иллюстрации религиозно-политических схем. Любой иной анализ источника с этих позиций рассматривался как ошечное «умствование», посягательство на авторитет официальных политических и религиозных устоев.

Консервативная историческая мысль в лице своих наиболее талантливых представителей пыталась подменить процесс объективного познания прошлого таким анализом источника, который обеспечил бы потребительское использование его свидетельств, т. е. некую азамачивание одних, выпячивание других, отвечающих определенным политическим и идеологическим конструкциям, а подчас и сознательное устраниение от каких-либо попыток установления достоверности этих свидетельств. Такой подход по существу стирал грань между историческим фактом и свидетельством о нем в источнике, а апелляция к «здравому смыслу» при анализе источника являлась всего лишь прикрытием его произвольной интерпретации.

Иллюстративному и потребительскому подходам к анализу источника противостояло понимание его как свидетельства — средства объективного познания прошлого и одновременно критерия правдоподобия его знания. В философском плане подобный подход к проблемам анализа источника плодотворно разрабатывался философской школой русских просветителей. Согласно учению этой школы, источник способствует добычанию «истины», обеспечивает, говоря словами одного из ее представителей — Лубкина, «сообразность мыслей или суждений наших» о прошлом с тем, что было в действительности.²² Задача заключалась в том, чтобы с помощью определенных приемов анализа источника извлечь из него эту «истину».

С другой стороны, усиление внимания к вопросам анализа источника в конце XVIII—первой четверти XIX в. объясняется и конкретными историографическими причинами. В выступлении Болтина против французского историка Леклерка определяющую роль сыграло обостренное чувство национального достоинства, подтолкнувшее ученого на бескомпромиссный разбор источниковой базы Леклерка, его методов работы с ней. Полемика Болтина и Щербатова, отразив уже качественно более высокий уровень представлений об анализе источника, неходкими мотивами имела расхождение идеологического и политического порядка в лагере господствующего класса. Одновременно все более определенно заявляла о себе и буржуазная историография. В борьбе с феодальной церковной и дворянской историографией ее представители решительно вставали на путь критики их источниковой базы. Выдвигаемые буржуазной историографией новые аспекты изучения прошлого заставляли привлекать новые виды источников, совершенствовать традиционные и разрабатывать новые приемы их анализа.²³

²² Там же. С. 75.

²³ Волк С. И. Исторический источник. . . С. 47—50.

Таким образом, включение источника в решение проблем познания, дальнейшее осмысление исторического процесса прежде всего в рамках буржуазной идеологии и историографии и создали в последующее время объективные предпосылки для более углубленного рассмотрения комплекса вопросов, связанных с анализом источника как научной проблемой. Его разрешению в конце XVIII — первой четверти XIX в. прежде всего сосредоточилось на преодолении «заблуждения» и «заблуждения». Если «критическая» и общественно-историческая мысль связывалась преимущественно со скудостью дошедших источников или их недостаточной достоверностью, то «заблуждение» определено отсылкой на свет самих возможностей и привлечение к источнику достоверных свидетельств и прошлым. Историческая мысль данного периода главную задачу анализа источника видела в устранении «заблуждения». Эта задача была ограниченной, так как она предполагала только установить подлинность источника и степень его достоверности.

Однако и ограничение задач анализа источника его критикой имело прогрессивное значение. Такое представление было нацелено не только на решение проблем познания, но и на разрушение теологических и дворянских концепций прошлого. Но случайно «науку критики» страстно отстаивал в 1804 г. А. И. Тургенев. В наше время, писал он, «можно ли опасаться, что историческая критика, сия, по-видимому, сухая предшественница великой прагматической истории, останется в России в таком забвении, в каком она была доселе, и неужели Голтин был первым и последним на русских, который чувствовал в полной силе истину...»²¹ Тургенев не случайно сгустил краски в оценке современного состояния «науки критики», прекрасно осознавая, какой опасности от пренебрежения ею подвергается наука истории. Его приведенные выше слова содержались в статье, направленной против работы Карамзина «О случаях и характерах в Российской истории, которые могут быть предметом художества». В ней будущий историограф в духе дворянского понимания предлагал запечатлеть в картинах действительные и легендарные события русской истории. Для Тургенева оказалась неприемлемым не только подбор этих событий и их интерпретация Карамзиным. Его выступление — это и решительный протест против игнорирования элементарных приемов критики источника в статье Карамзина. Если поэт и художник, рассуждал, споря с Карамзином, по способностям большего эмоционального воздействия еще имеют право на художественный вымысел, то историк как частного человека, так и целый народ должен изобразить беспристрастно и характер того и другого представлять в истинном виде, собирал для сего материалы не как-нибудь, но с критическим разбором, пропуская сквозь чистилище критики

²¹ Тургенев А. И. Критические примечания, относящиеся до древней славяно-русской истории // Северный вестник. 1804. № 6. С. 253—254.

каждое сказанное слово, каждое историческое известие, застарелое или новое. . . .²³

Выступление Тургенева представляло собой серьезное предупреждение потребителю к неиспользованию источника, блестящий образец которого современники позже могли увидеть в «Истории» Карамзина. Поэтому не случайно накануне выхода труда Карамзина об этом же считал необходимым напомнить в своем оставшемся неопубликованным труде по истории Сибири П. М. Строев. Давая в нем оценку «баснословиям» историков XVIII в., он писал: «Стремительный напор критики новейших времен разрушил сии горы и обратил в прах, по-видимому, гранитные их части — истина явилась в чистом своем виде, но в общем мнении закоренелую историческую предвзятость ничего или очень мало потеряли. Люди рассудительные увидели прах, их окружавший, рассеянном и почувствовали прежде свое заблуждение, но толпа слепых вероубеждений осталась при том слепом доверии, при котором находилась и прежде; неоспоримые доказательства, подкрепленные свидетельствами древности, не могли разрушить, но меньшей мере поколебать, застарелого их упрямства. . . . есть люди — и их еще много, — кои не могут расстаться с сими, по их мнению, славными для Отечества событиями».²⁴

В разработке проблемы критики источника отечественная общественно-историческая мысль конца XVIII—первой четверти XIX в. выдвинула ряд методических приемов, исходящих из общей методологической установки, согласно которой источник является продуктом исключительной деятельности человека и потому несет на себе отпечаток его страстей, заблуждений и суеверий. В результате источник представлялся, во-первых, как свидетельство или совокупность свидетельств о реальных и фантастических, подлинных и вымышленных событиях прошлого и, во-вторых, как неустойчивый, подверженный сознательным и бессознательным искажениям остаток прошлого. В лучшем случае такие представления не распространялись на документы официального происхождения, в первую очередь на законодательный и актовый материал. Эти две особенности источника, отмеченные Шлецером, повторенные Голтиным и затем получившие широкое распространение, вызвали необходимость преимущественного решения двух связанных задач: текстологической, выразившейся в идее «очищения» источника, и аналитической, призванной добыть из источника достоверные свидетельства о событиях прошлого.

Историографическая традиция связывает постановку и попытку решения этих задач с трудом Шлецера, посвященным Начальной летописи. Предложенный Шлецером трехэтапный критический анализ источника подробно рассмотрен в литературе, поэтому мы не будем на нем останавливаться.²⁵ Важно отметить, что Шлецер исходил

²³ Там же. С. 292—293.

²⁴ ЦГИАМ, ф. 31, оп. 4, л. 8, л. 6 об.—7.

²⁵ См., напр.: Волк С. И. 1) Русская Правда и подлинник и плучения XVIII—начала XIX века // Археографический ежегодник на 1958 год. М.,

и своей методикой из представлений, сформулированных в западноевропейских трудах по герменевтике. С одним из таких трудов отечественная общественно-историческая мысль получила возможность познакомиться в 1813 г., когда был опубликован осуществленный Лубкинским перевод книги Снедла «Начальный курс философии», где содержались многие из тех положений, которые проплатандировал и автор «История». ²³ О том, что шлецеровская методика представляла собой попытку приспособить классические положения герменевтики к русским источникам и что методы герменевтики были хорошо известны русской исторической мысли еще в XVIII в., свидетельствуют труды Болтина. Как и Шлецер, Болтин пишет о необходимости «разобрать, очистить, образовать» «припасы» историка. Дальнейшие рассуждения Болтина еще больше проявляют эти общие намерения. Оказывается, коль речь идет о летописях, то их надо сравнить, исправить погрешности и «привести их в тот вид, в каком от сочинителей их были изданы», т. е. Болтин имеет в виду первый (по Шлецеру) этап критического анализа. Далее, пишет он, необходимо найти «смысл сказуемого», т. е. фактически он говорит о втором этапе критической работы с источником. И наконец, следующая задача, отмечает Болтин, состоит в том, чтобы отличить «язки от истины», сведения «вероятные» от «невероятных», «достоверные» от «недостоверных», «достойное предание» от «недостойного». ²⁴ Как и Шлецер, Болтин обнаруживает оптимизм в возможности «восстановления» источника. Рассуждая о «повреждении» летописей от переписчиков, он пишет, например, что оно «не столь велико, чтобы было трудно или невозможно его исправить»; сравнил ещеки, говорит он, их «удобно можно исправить» — в том-то и состоит первоначальный и самый важный труд предпринимающего писать историю. ²⁵ Вот почему, защищая «татищевские известия», Болтин, естественно, переносил свои представления о «восстановлении» текста источника и на принципы работы с ним своего выдающегося предшественника, когда писал, что Татищев «точно исправлял погрешности и пополнял упущения на других летописях; свои же мнения и рассуждения писал в примечаниях, а потому и повествование его достойно быть совершенной доверенности». ²⁶

В. Н. Татищев, Г. Ф. Миллер, а затем А. Л. Шлецер и И. Н. Болтин впервые те элементы «науки критики» вообще, которым раньше придавалось значение только при решении чисто филологических

1964, С. 155—156 и др.; 2) Еще о Болтинском издании Правда Русской // ТОДРЛ. Л., 1976, Т. XXX, С. 327—329.

²³ Начальный курс философии: Сочинение г. Снедла. Казань, 1813, Ч. 1—2.

²⁴ Болтин И. И. Примечания на Историю древних и нынешних России г. Мехдорка. СПб., 1788, Т. 2, С. 1—3, 16—18; см. также: Никольский А. Т. Вопросы источниковедения и археографии в трудах И. И. Болтина // Археографический ежегодник за 1958 год. М., 1960, С. 166—175; Шапский Д. И. На истории русской исторической мысли: И. И. Болтин. М., 1983, С. 69—76.

²⁵ Болтин И. И. Критические примечания на I том «Истории» Щербатова. СПб., 1793, С. 74—76, 121—122.

²⁶ Болтин И. И. Критические примечания на II том «Истории» Щербатова. СПб., 1794, С. 128; Добрушкин Е. М. «История Российская». . . С. 104—106.

задачи, включили в систему установления достоверности свидетельства о событиях прошлого, подчинили их задачам исторического познания. Шлецеру впервые удалось предложить современникам образец «очищенного» источника — Начальной летописи. Вместе с тем шлецеровский «очищенный» «Нестор» представлял собой искусственный, никогда не существовавший текст. Во-первых, как справедливо отметил С. Н. Валк, все списки Начальной летописи представлялись автору «Нестора» разнозначными с точки зрения происхождения от утраченного подлинного списка. Но Шлецеру, разница между ними заключалась лишь в степени искажений и процессе позднейших переписок «Летописи Нестора». Тем самым не учитывалась возможность целенаправленной переработки Начальной летописи на разных этапах истории ее текста. Точно так же позже подошел к спискам Правды Русской Карамзин. Для него же Пространная редакция, представленная первоначально Синодальным списком, являлась всего лишь «обозреваемым» списком подлинного текста древнерусского памятника.¹² Во-вторых, критерием «верности» того или иного чтения «Летописи Нестора» Шлецер сделал свой разум. «Отгадывая», по его признанию, подлинное чтение текста летописца Нестора, он выбирал из то из одного, то из другого списка. Субъективность такого «отгадывания» усугублялась подчас всевозможными представлениями Шлецера о варварстве, дикости древней истории европейского Севера, а применительно к Древней Руси — и норманизмом автора.

Шлецеровские идеи «восстановления» подлинного текста источника получили в России известное распространение. Однако уже в 40-х гг. XIX в. они все чаще и чаще стали подвергаться критике со стороны Р. Ф. Тихоковского, П. М. Строева, К. Ф. Калайдовича, Г. Эверса. Эверс подверг серьезному разбору норманизм Шлецера и показал, что он не мог не отразиться и на текстологических упражнениях автора «Нестора». Имея в виду этот норманизм, Эверс писал, что Шлецер, «ослепаясь каким-нибудь воззрением, которое почитает доказанным, бывает слишком смел и неосторожен и легковерен в обращении сокровенных следов своей истины».¹³

Представление о развитии методов критики источников в исследуемое время было бы неполным и даже неточным, если бы мы оставили без внимания их активную разработку среди русских философов-просветителей. Наиболее яркий образец такой разработки мы видим и уже упоминавшегося выше труде Лубкина.

Исходя на общей мысли о «порче» текста источником и процессе его многократных переписок, но добавляя, что она может быть сделана сознательно по политическим и идеологическим мотивам — в интересах «секты», Лубкин дал классификацию искажений текста источника. Согласно Лубкину, они могут быть сделаны сознательно, преследуя определенные цели, «по необходимости» и случайно — по причине простых ошибок пера или переписчиков. Исходя из этого,

¹² Валк С. Н. Еще о Пустинском издании Правды Русской. С. 327—328.

¹³ Эверс Г. Предварительные критические исследования для русской истории. М., 1826. Кн. 1. С. 82.

Лубкин предложил целую систему приемов «востановления» подлинного текста источника и «угадывания» подлинных мыслей автора.

Эта система, по Лубкину, должна сводиться к рассмотрению источника по нескольким правилам. Во-первых, необходимо сравнить «темные места» с предыдущими и последующими и на этой основе объяснить их. Во-вторых, следует дать «свод параллельных мест, где автор говорит о том же или о подобном предмете». Это также может дать новый материал для объяснения «темных мест». В-третьих, по Лубкину, важно «прикоротить» чуждый текст источника к тем частям текста, с которыми он имеет «какую-либо связь или отношение». В-четвертых, предлагает он, необходимо сопоставить текст источника с текстом «других писателей», которые, «будучи с ним (автором анализируемого источника. — В. К.) одинакового мнения, и о том же предмете писали». В-пятых, Лубкин рекомендует использовать различные «способы» — книги, рукописи и т. д., — «преимущественно пред другими одобряемые».⁵⁴

Как видим, Лубкин существенно дополнил шлецеровские приемы «востановления» и в особенности «угадывания» подлинного текста источника. Однако значение его идей нам станет еще понятнее в связи с разработанной им системой приемов «внешней критики». Как известно, в сколько-нибудь целостном виде они не были сформулированы ни Шлецером, ни его предшественниками и последователями. Рационалистическое мировоззрение XVIII в. уже научилось выделять в источнике свидетельства о фактах легендарных и провиденциальных, а со времени борьбы М. В. Ломоносова против норманнской теории — тенденциозных, включенных в источник по политическим мотивам. В XVIII в. можно найти немало примеров, когда историческая мысль в попытках «внешней критики» использовала эксперимент (как, например, Н. П. Елагин, который опытным путем с помощью голубей в своем имени попытался проверить летописное свидетельство о мещанинине княгини Ольги древлянам), элементы сравнительно-исторического анализа, перепроверки данных источника свидетельствами других источников, в том числе иностранных (что делал широко уже Татищев), набор определенных логических правил (их применял также Татищев). О логических приемах критики источника говорил, например, Болтин: «Можно, держась без пристрастия середины и прочие трудности осторожным вниманием разбирая, разрешать и находить вероятное и возможное между повествованиями, одно другому противоречащих».⁵⁵

Работа Лубкина, содержащая специальный раздел «Об неопытности мнения исторического», была пронизана двумя важными положениями. Во-первых, он решительно выступал против иррационального познания прошлого, заявляя о необходимости положить предел, «чему мы должны верить» в источнике (имеется в виду его библейские и другие проназванные церковной идеологией свидетельства).

⁵⁴ Лубкин А. С. Начертание логики. С. 139.

⁵⁵ Болтин Н. П. Критические примечания на II том «Истории» Щербатова С. 342.

Во-вторых, Лубкин полагал в духе теории «разумного эгоизма», что любовь автора источника к самому себе оказывает существенное влияние на достоверность его свидетельства. Из всего этого вытекал общий вывод о принципах «высшей критики» источника: «Иное можем мы знать прямо, иное познавать, иному по возможности должны верить, иное по такой же необходимости предполагать, об ином только правильно догадываться, а об ином напрасно и голову не ломать»,²⁶ т. е. фактически он говорил о проверенном знании, гипотезе, предположении, догадке и домысле.

Лубкин распределяет свидетельства источника на «неосновательные и ложные» и «справедливые, но заключающие выдумки и прибавки» (в другом месте иначе — «достойные вероятности, сомнительные, невероятные или ложные»).²⁷ Для установления достоверных свидетельств он в соответствии со своими антиклерикальными убеждениями предлагает критически анализировать источник с точки зрения «свойства повествуемого дела», а исходя из трактовки источника как отражения определенных интересов его автора, — «свойства тех, кто повествует».²⁸

Говоря о критике источника в плане «свойства повествуемого дела», Лубкин рекомендует относить его свидетельства к обычным или необычным (в том числе редко случавшимся), «естественным или вышестественным», ясным и подробностям, находящим подтверждение в других достоверных свидетельствах. Он обращает особое внимание на установление достоверности свидетельств «вышестественных», вводя для них ряд критериев: «1) чтобы видны были нравственные причины, для коих оно случилось и коим пиаче по тогдашним и местным обстоятельствам удовлетворить было не можно; 2) чтобы в свое время строго размыкано и исследовано и не подлежало бы никакому сомнению или объяснению иного другим, естественным образом; 3) чтобы из его отвержения или естественного объяснения следовала нецелесообразность в истории, противоречие между обстоятельствами предыдущими и последующими и скачок (salutis) в последовании происшествий; 4) чтоб никак не можно было подозревать, что повествование его и вероимство оному произошло от влуса и склонности тех времен».²⁹

В «рассуждении повествователей» Лубкин предлагает обращать внимание на степень «согласия» в их рассказах, характер их отношения к описываемым в источнике событиям, наличие или отсутствие обстоятельств, которые у критика могут породить подозрение, что «повествователи» «обманулись в познании повествуемого ими дела». В соответствии с этим он формулирует семь критериев «доверия» к рассказу автора источника: 1) автор — современник, участник события или имел возможность «прямо слышать» о нем из достоверных источников; 2) умственные способности автора не превышают

²⁶ Лубкин А. С. Начертание логики. С. 75.

²⁷ Там же. С. 128.

²⁸ Там же. С. 131.

²⁹ Там же. С. 129—130.

«свойство повествуемого им дела или когда не можно будет думать, что он по своему слабоумию так предстанляет оное»; 3) нет причины для подозрения автора в легкомыслии (из-за отсутствия у него необходимых знаний, «способий», «ступости ума», рассеянности, преклонного возраста, привычек к «любимым предрассудкам» и т. д.); 4) нет основания для обвиняния автора в «слепом пристрастии или предубеждении» (по причинам его презрения к познанию, самоуверенности, тайного опасения в каком-либо «неудовольствии», могущем привести ему вред, его желанья угодить кому-либо, предстантить все так, как хочется, его пренебрежения или, наоборот, чрезмерного увлечения чьим-либо мнением и др.); 5) сообщаемые автором свидетельства не противоречат друг другу; 6) эти свидетельства подтверждаются другими авторитетными и независимыми источниками; 7) враги автора и «враги повествуемого им дела» не опровергают его свидетельства или, опровергая, обнаруживают «следы напряженного унищрения и лукавства».⁴⁰

Кроме того, у Лубкина вызывают подозрение те авторы источников, которые используют «напыщенный слог» или в своих рассуждениях стремятся «выставить свой ум». И наоборот, он показывает большее доверие к авторам, которые обстоятельны и подробны в своих рассказах (вырочем, оговаривается он, если есть уверенность, что такие обстоятельные и подробные рассказы не являются плодом авторского воображения).

Нетрудно заметить, что сформулированные Лубкиным критерии достоверности свидетельств источника, поставленные в зависимость от личных качеств, жизни и деятельности его автора, по существу представляли собой популярную позже группу критериев происхождения. Однако примечательно, что Лубкин, как и другие представители русской школы философов-просветителей, решительно исключил из этой группы критерий социальной иерархии автора источника, в котором часто инеллировала дворянская историография. Достоверность свидетельств источника, согласно Лубкину, находится в сфере совпадения всех или большей части критериев происхождения и содержания. «Признаки, что повествуемое каким-либо писателем дело, — заключает он, — заслуживает вероятия, могут быть следующие: 1) когда оно само в себе возможно и в главных обстоятельствах не имеет противоречия; 2) когда повествуется писателем, достойным вероятия, смотря не только по личным его качествам, но и по удобности знать обстоятельно и с прямой стороны оное; 3) когда оное подтверждается и оправдывается обстоятельствами, как современными, так и предыдущими и последующими; 4) когда подтверждается постоянно разными и приличными, смотри по обстоятельствам, историческими памятниками».⁴¹

Правила «высшей критики», предложенные Лубкиным, как подчеркивал он сам, касались определения достоверности не только источника в целом, но прежде всего его конкретных свидетельств.

⁴⁰ Там же. С. 130—131.

⁴¹ Там же. С. 131—132.

«Весьма несправедливо было бы, — писал он, — за некоторые только сомнительные или темные места и повествования все одно отвергать и почитать ложным или выдуманным, ибо иначе все бы вообще доверование таковым почести надлежало».⁴² Тем самым Лубкин дал ясный ответ на дискутировавшуюся и общественно-исторической мысли конца XVIII—первой четверти XIX в. проблему соотношения достоверности источника и целом с достоверностью его отдельного свидетельства. Она особенно остро была поставлена в полемике Болтина и Щербатова о труде Татищева и Карамзиным в его критике «татищевских известий». Щербатов и Карамзин, как известно, обвиняли Татищева и сознательных дополнениях источника, и то время как Болтин наряду с отстаиванием правомерности таких дополнений, основанных на «размышлениях», говорил и о том, что Татищев имел в своем распоряжении несохранившиеся источники.

Было бы преувеличением доказывать, что лубкинские соображения о «сызшей критике» предложены им впервые в отечественной общественно-политической мысли. Так, Татищев в значительной степени предвосхитил разработку критериев «верности» источника и зависимости от личных качеств его автора. Болтин, защищая труд Татищева, использовал многие из тех же логических правил, когда писал, что и «История» Татищева отличаются «легкостью», «сумнительностью», «все с рассуждением, с точностию и с доводами писанное», подчеркивал согласие повествования первого отечественного историка с «нашими летописями и обстоятельствами времен и прошедших».⁴³ Щербатов и Болтин в ходе полемики не раз апеллировали к критериям «вероятности события» и «достоинства» автора источника, которые во многом совпадали с лубкинскими. Современник Лубкина Мерзляков, говоря о достоверности источника, также отмечал, что она зависит «от большей или меньшей степени уверенности в свидетелях, в признаниях, и историках, также от существа предмета, от намерения, с которым нам об нем сказывали, от времени и обстоятельности, среди которых оно (событие. — В. К.) случилось».⁴⁴ Да и после Лубкина набор критериев достоверности источника уточнялся и пополнялся.

Но мы не случайно подробно рассмотрели представления об исторической критике именно Лубкина. Во-первых, в истории отечественного источниковедения его имя (как и имена других отечественных философов, разрабатывавших вопросы критики источника) оказалось незаслуженно забытым. Труд Лубкина в начале XIX в. и вплоть до наших дней «прошел» по другой отрасли научного знания, хотя мог оказать воздействие на источниковедческие работы такого исследователя, как Н. С. Арцыбашев. Во-вторых, этот труд стал первым и наиболее полным изложением системы методических приемов критики источника. В отличие от высказываний Татищева,

⁴² Там же.

⁴³ Болтин И. И. Ответ генерал-майора Болтина на письмо князя Щербатова, сочинителя Российской истории. СПб., 1789. С. 62.

⁴⁴ Мерзляков А. Краткая риторика. . . С. 98.

Шлецера, Болтина, Щербатова и других ученых эта система была ориентирована на весь корпус письменных источников (каким он представлялся Лубкину и каким нашел отражение в его разобранной выше классификации «исторических памятников»), а не только на древнейшие письменные источники.

Система критики источника, предложенная Лубкиным, опираясь на философию дема, просветительскую идеологию, была пропитана глубокой убежденностью в возможности познания прошлого на основе анализа источника с помощью «здорового смысла» — использования определенных логических правил. Вместе с тем методические приемы Лубкина отражали и недостатки, присущие источниковедческой критике исследуемого времени. Главный из них заключался в том, что само собой разумеющимся считалось, что применение таких приемов критики должно ограничиться установлением достоверности свидетельства источника о конкретных событиях прошлого. Критика источника с позиций «здорового смысла» исключала необходимость решения более важной задачи — установления исторической достоверности, соответствия показаний источника процессам исторического развития. Именно поэтому позже Н. И. Надеждин справедливо называл такую критику формальной, противопоставив ей критику реальную, призванную решать вопросы исторической достоверности вообще.⁴⁵ Кроме того, критика источника с позиций рационализма не исключала субъективности в определении достоверности. Это показала уже полемика Болтина и Щербатова. Оба ученых в оценках достоверности, например, Ношкимова летописи, исходя из сходных логических правил, пришли тем не менее к противоположным выводам.

Мы рассмотрели пять подходов к источнику в исторической мысли России конца XVIII — первой четверти XIX в. как отражение историографических и литературных процессов этого времени, а также основные направления анализа источника, определявшиеся идеологическими и историографическими позициями различных представителей отечественной общественной мысли. Однако реальная картина отношения к источнику отечественной исторической мысли была бы неполной, если бы в стороне оказались такие заметные явления, как выход шлецеровского «Историка» и «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина и тесно связанный с этими событиями процесс оформления так называемой «скептической школы» М. Т. Каченовского.

⁴⁵ Фарсобиц В. В. Источниковедение и его метод. М., 1883. С. 134.